

В русском жанре

Сегодня. — 1995. — 3 окт. — С. 5
Сергею Есенину сто лет

два ли про другого русского поэта можно сказать, что он — народный любимец. Даже по отношению к Пушкину придется делать оговорки.

Когда Анна Ахматова говорила о гонениях властей на Бродского, «какую они ему делают биографию», то имела в виду и поэтов старшего поколения, прежде всего Мандельштама и себя, которым и в самом деле давление режима делало биографию — особенно самой Анне Андреевне. Если рецензент 1910-х годов мог ядовито и вполне справедливо заметить, что «Анна Ахматова мучается не потому, что ее оставил возлюбленный, а потому, что это ее профессия», то современный исследователь Ахматовой прежде всего видит внешние обстоятельства, сделавшие ее музу трагичной, — то, насколько она была «там, где мой народ к несчастью был». Что, впрочем, не всеобъемлюще; страдания и испытания притягивались, провоцировались самой Ахматовой, и не столько политически, сколько метафизически. И трагичность ее зрелых любовных стихотворений не ниже градусом, чем «Реквием», при, казалось бы, столь разных источниках страдания.

В еще большей степени профессиональность, что звучит цинично, — скажем, удел страдальчества был присущ Сергею Есенину. Внешнее давление не удовлетворяло его едва ли не мазохистскую жажду страдания. И «вихрь событий», и любовные романы — ничто в сравнении с внутренним черным огнем, сжигающим его и столь обнажен-

но проступавшим в стихах. «Я последний поэт деревни» — и потому, что деревне худо, но главным образом потому, что последний — это нечто!

И Маяковский вослился: «Я, быть может, последний поэт».

Пастернак, кажется, первым отметил не антагонизм Маяковского и Есенина, но их близость и явное влияние Маяковского на Есенина. Он, Пастернак, и Живаго своего определял как «человека, который составляет некоторую равнодействующую между Блоком и мной (и Маяковским, и Есениным, может быть)».

Последним быть, это вам не советская очередь, где, помнится, всегда находился гражданин, оскорбленныйправлявший спросившего: «Я не последний — крайний!» Быть последним в поэтическом ряду — это узаконенное бессмертие, а к чему стремится поэт?

Способность самосжигания. Вс. Иванов, Бабель или Бор. Пильняк, поглощавшие алкоголя не меньше Сергея Александровича, кутившие и, особенно последний, менявшие женщин с быстротой и легкостью, всегда еще имели и второй план жизни, крепенький. То, что Есенин заключал договоры, прятал деньги или обирал Айседору, совсем не то. Искушение бывало мгновенным; конечно, мот и гуляка был истинный, и правила литературно-издательской игры с авансами, договорами, рекламой, интригами соблюдались им не для выстраивания личного благополучия, а лишь подтверждали, что он — настоящий русский писатель, классик. Вот и журнал задумал издавать. Пильняк же — издавал. И близость к верхам, столь тесная у многих крупных писателей советского времени, не миновавшая и Есенина, водившего дружбу с комиссарами и чекистами, опять-таки становилась атрибутом игры — той игры с жизнью, которую вел Есенин. Отсутствие жилья, имущества — как важно это в контексте его «товарищей», которые деловито обустроивались. Есенину было интересно вырвать деньги из Воронского и

Ионова, но совсем было неинтересно размещать их в материальные ценности. Едва ли не одна, столь простительная и для него естественная, страсть к нарядам. Есенин был человек без быта, так же как и Ахматова, Цветаева, Мандельштам. Он был свободным человеком, которого дом, семья, государство не могли привязать к себе сколько-нибудь крепко. Да никак не могли — вырывался и убежал.

Пьянство Есенина — не только не бытовое, но и не среднелитературное, традиционно-богемное. Пьянство как образ жизни, пьянство как самосожжение. Напомним, что пить С. А., по свидетельствам современников, начал довольно поздно, т. е. не было здесь врожденной зависимости или юношеской бездумности, с которыми обычно бросаются в «кабакский омут».

Пьянство как двигатель, как лоцман, как сумасшедший компас, заставляющий делать так, а не эдак, влюбиться (ли?) в заезжую престарелую знаменитость и умчать на юнкере в Европу, зачем-то отправиться за океан. Можно ли найти во всех житейских шагах Есенина двадцатых годов хоть подобие логики, какого-то плана, расчета, просто нормальной разумности, вплоть до последнего решения о разрыве с Толстой и переезда на место жительства в Ленинград, город как бы вовсе не его романа, с чуждой и во многом враждебной литературной средой?

Бегство Есенина от кошмара, от черного человека становилось драгоценным топливом в догорающем, все более сумрачном, а оттого притягательном костре его поэзии.

Если и мне пришлось бы составлять

табель о рангах (любимое литературное занятие на Руси), то бесспорные поэтические гении XX века: Блок, Пастернак, Есенин.

Знаю, что сюда положено отнести еще Мандельштама и двух женщин. Но если так, то тогда еще Маяковского, Ходасевича, Клюева и Георгия Иванова. Готов расширять: начиная с Анненского и кончая Северяниным. Но никогда — Гумилева. Это — мираж! Поэтический гений подменили трагедией судьбы.

Самые худшие годы для есенинского наследия — вовсе не те, когда его не издавали, но переписывали, помнили наизусть дорогие строки, а урки выкалывали их на груди. Хуже стало, когда Есенина «разрешили» и взяли канонизировать. Канонизация по двум направлениям. Одни осовечивали его — С. Кошечкин, Ю. Прокушев и многие другие бесконечно сочиняли Есенина-большевика, сладостно цитируя: «Как скромный мальчик из Симбирска стал рулевым своей страны. Среди рева волн в своей расчистке, слегка суров и нежно мил, он много мыслил по-марксистски, совсем по-ленински творил» — стихи вполне пародийные. Но есть и другие, странноватые: «И не носил он тех волос, что льют успех на женщин томных, — он с лысиной, как поднос, глядел скромней из самых скромных».

Второе, не совсем официальное, подспудное: претворение Есенина в суперпатриота, золотоголавого воспевателя «земли с названием кратким Русь». Он, конечно, был воспевателем этой земли, но когда скрипучими словами профессиональных литературных патриотов утверждалось, что прост-то был их Ляксандрыч, прям дальше некуда,

т. е. подразумевалось, что просто он был, как они (стало быть, законные наследники, в пику проклятым модернисто-сионистам), то... как тут было не тыкать им гениально-взбаламученной поэтикой «Пугачева»: *Ежедневно молясь на зари желтый гроб, Кандальи я сосал голубыми руками...*, или *Каплет гноем смола прозоркая Из разодранных ребер изб...*, или *По-звериному любит мужик наш на короточки сесть И сосать эту весть, как коровьи большие сиськи...*

Или спросить, в ответ на долготню о душевном здоровье Сергея Александровича, его родниковой (непременно родниковой) свежести и проч., разве одного «Прощания с Мариенгофом» мало, чтобы понять: С. А. был глубоко надорванным, развратным, эстетически-разорванным поэтом? (Что не могло мешать ему быть и редким выразителем «малиновых озер».) Что его нескрываемая здесь бисексуальность, известная еще со времен «дружбы» с Клюевым, находится вовсе не в ряду здоровой и корневой традиции русской поэзии (если только таковая была — имена?), но вполне в традиции человека «Серебряного века», современника Кузмина, Иванова, Вертинского? «Возлюбленный мой! дай мне руки — я поиному не привык, — хочу омыти их в час разлуки я желтой пеной головы. Ах, Толя, Толя, ты ли, ты ли, в который миг, в который раз — опять, как молоко, застыли круги недвижущихся глаз. Другой в тебе меня заглушит. Не потому ли — в лад речам — мои рыдающие уши, как весла хлещут по плечам?»

Мы стали свидетелями эстрадного возрождения Есенина. Если недавно лишь хор в кокошниках мог задумчиво

исполнить «Клен ты мой опавший» и лишь зарубежный бас Рубашкина спрашивал: «Молодая, с чувственным оскалом, я с тобою не нежен и не груб. Расскажи мне, скольких ты ласкала? Сколько рук ты помнишь? Сколько губ?», то сейчас слышится новое и новое исполнение есенинских текстов «Не жалею, не зову, не плачу», «Я обманывать себя не стану», «Сыпь, гармоника», «Пой же, пой», «Годы молодые», «Мне осталась одна забава», «Пускай ты выпита другим», «Сукин сын», «Отговорила роща золотая» — т. е. стихи или из «Москвы кабацкой», или к ним примыкающие пришли сейчас ко двору. Какое время — такие и песни. А 20 лет назад сумел поразить Шукшин: молодой зека, поющий в «Калине красной» «Письмо матери», являл собою такой сплав тоски, русскости, поэзии и уголовщины, что есенинский текст звучал и исповедью, и гимном всех пропавших «без причал».

«Однажды на мой вопрос, любит ли она стихи Есенина, ответила только: «Но ведь он не сумел сделать ни одного стихотворения...» (С. В. Шервинский. «Анна Ахматова в ракурсе быта»).

И была почти права: доделанных, доведенных, как говорят работяги, до ума стихотворений у Есенина если не совсем нет, так очень мало. И это замечала, конечно, не одна А. А. Вот, скажем, доброжелательный к Есенину Д. Святополк-Мирский: «У Есенина много плохих стихов и почти нет совершенных». Хоть сам С. А. и заявил: «Стихи не очень трудные дела», — но, конечно, знал про то, что у него сделано и не сделано. Как там в «Анне Снегиной»: «Я вам прочитаю немного стихов про кабацкую Русь... Отделано четко и строго. По чувству — цыганская грусть».

Но, как бы отвечая всем критикам не умеющего отделять Есенина, писал Пастернак: «Есенин был живым, быющим комком той артистичности, которую вслед за Пушкиным мы зовем высшим моцартовским началом, моцартовской стихией».

Есенин писал «хуже» и Ахматовой,

и некоторых куда более незначительных поэтов, скажем, Асеева или Багрицкого. Именно потому, что был гением. Его осенял высший дар, вовсе не обязательно и даже скорее почти никогда не соединяющийся с той мерой литературной одаренности и способности к совершенствованию, которыми отмечены другие. Есенин писал «хуже» Ахматовой так же, как Достоевский «хуже» Гончарова, а Толстой «хуже» Тургенева.

«Ежели Кольцов выпускает книгу, то на обложку дайте портрет, который у Екатерины. Лицо склоненное. Только прежде затупите Изадорину руку на плече. Этот портрет мне нравится. Если эта дура потеряла его, то дайте ей в морду». (Есенин — Бениславской, из Баку в Москву в мае 1925 года).

Из есенинских фотографий есть самая знаменитая, десятки лет украшавшая и скромные девичьи простеночки, и базарные окошки — с трубкой во рту и почему-то подобием альпеншток на плече. Парикмахерски уложенный и с совершенно небесно-пустым взором. Есенину здесь 24 года.

Есть еще несколько подобных сладких изображений поэта с расчесанным проборчиком, небесными глазами. Зато как мил и прост он с гармошкой на Пречистенском бульваре, с сестрой Катей, как «непохож» одутловатыми молодыми щеками на фото в профиль с матерью в Константинове, обреченно тих на фотографии последнего года жизни, которая сделалась канонической во многих изданиях. Единственные кинокадры с Есениным 1918-го года при открытии барельефа на Красной площади обнаруживают, что С. А. был худ и горбонос, никак не округл, но скорее хищноват. Так оно, наверное, и было: «Низкорослый и горбоносый»... Фото же, где велено замазывать Изадорину руку, если не ошибаюсь, работы знаменитого Наппельбаума, не могло не нравиться — хорош здесь Есенин, но без сладкой поэмы, задумчив, но ненароком, а не в объектив.

Есенин Сергей Александрович
3.10.95.

*«В русском жанре» — продолжающаяся книга Сергея Боровикова. Есенинские фрагменты входят в главу, что полностью будет напечатана в октябрьском номере журнала «Волга».